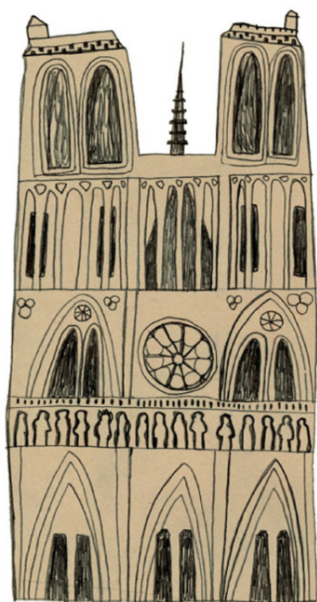


Патрик  
Зюскинд



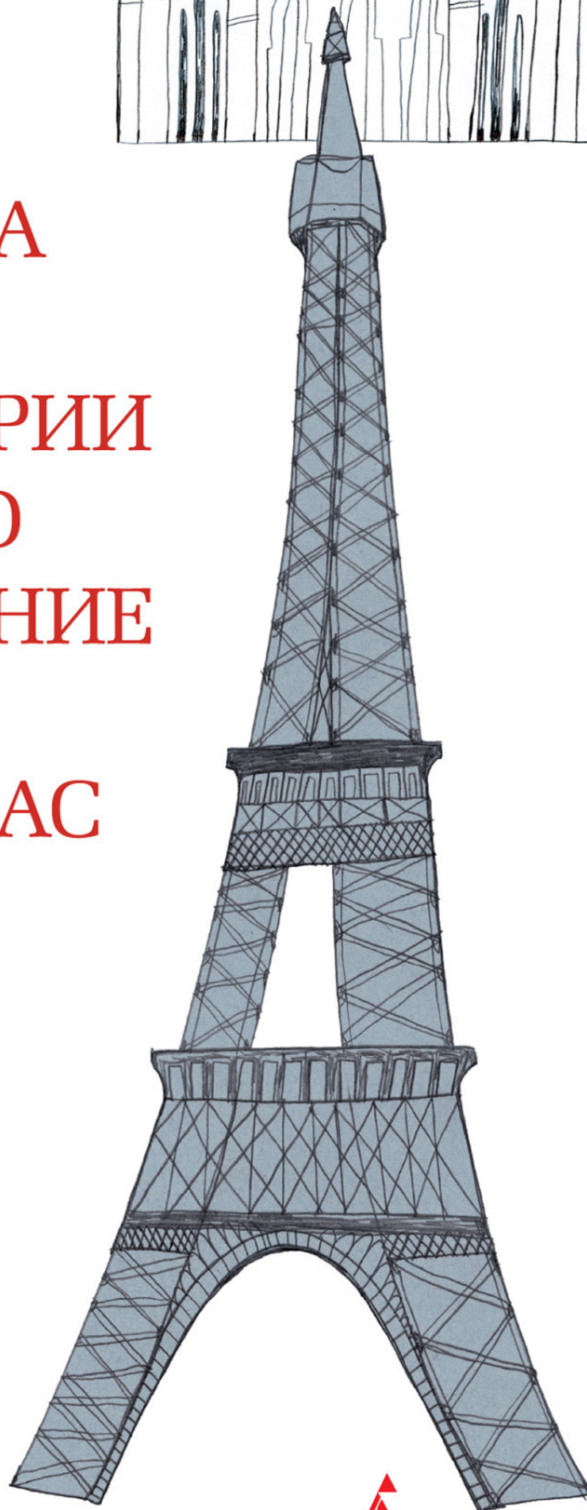
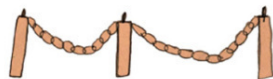
ГОЛУБКА



ТРИ ИСТОРИИ  
И ОДНО  
НАБЛЮДЕНИЕ



КОНТРАБАС



Азбука-бестселлер

Патрик Зюскинд

**Голубка. Три истории и одно  
наблюдение. Контрабас**

«Азбука-Аттикус»

1987, 1995, 1984

УДК 821(494)  
ББК 84(4Шва)-44

**Зюскинд П.**

Голубка. Три истории и одно наблюдение. Контрабас /  
П. Зюскинд — «Азбука-Аттикус», 1987, 1995, 1984 — (Азбука-  
бестселлер)

ISBN 978-5-389-19904-0

Патрик Зюскинд относится к числу самых популярных писателей XX века. Правда, нередко его называют автором лишь одного романа – «Парфюмер». Познакомившись с этой книгой, читатель легко убедится, что такое мнение ошибочно. Под одной обложкой собраны повесть «Голубка» («маленький шедевр в прозе»), четыре сравнительно коротких, но бесспорно интересных рассказа и пьеса «Контрабас», первое произведение Зюскинда, в котором поднимается тема «маленького» человека. Здесь автор раскрывается как великолепный психолог, мистификатор, человек, наделенный тонким чувством юмора и редкой фантазией.

УДК 821(494)  
ББК 84(4Шва)-44

ISBN 978-5-389-19904-0

© Зюскинд П., 1987, 1995, 1984  
© Азбука-Аттикус, 1987, 1995, 1984

## Содержание

Голубка	6
Конец ознакомительного фрагмента.	21

**Патрик Зюскинд**  
**Голубка**  
**Три истории и одно наблюдение**  
**Контрабас**

Patrick Süskind

DIE TAUBE

Copyright © 1987 by Diogenes Verlag AG Zurich

DREI GESCHICHTEN UND EINE BETRACHTUNG

Copyright © 1995 by Diogenes Verlag AG Zurich

DER KONTRABASS

Copyright © 1984 by Diogenes Verlag AG Zurich

All rights reserved



Азбука-бестселлер

Перевод с немецкого Эллы Венгеровой, Нины Литвинец

Серийное оформление Вадима Пожидаева

Оформление обложки Ильи Кучмы

© Э. В. Венгерова, перевод, 1994, 2000

© Н. С. Литвинец, перевод, 1991

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2021

Издательство АЗБУКА®

\* \* \*

## Голубка

Когда произошла эта история с голубем, выбившая из колеи его монотонное существование, Ионатану Ноэлю было уже за пятьдесят, из них последние двадцать он прожил совершенно без всяких событий и даже мысли не допускал, что с ним может произойти что-либо значительное, кроме неизбежной смерти. И его это вполне устраивало. Потому что он терпеть не мог событий, он прямо-таки ненавидел события, нарушающие внутреннее равновесие и вносящие сумятицу во внешний порядок вещей.

Большинство такого рода событий, слава богу, терялось в сером безвременье его детства и юности, и он предпочитал вообще больше не вспоминать о них, а если и вспоминал, то с величайшим неудовольствием: например, об одном летнем дне в Шарантоне, в июле 1942 года, когда он пришел домой с рыбалки, в тот день была гроза и потом ливень, а до этого долго стояла жара, и на обратном пути он снял ботинки, шел босиком по теплому мокрому асфальту и с наслаждением шлепал по лужам... Так вот, он вернулся домой с рыбалки и побежал в кухню, ожидая увидеть там занятую стряпней мать, а матери больше не было, был только ее фартук, он висел на спинке стула. Мать уехала, сказал отец, ей пришлось уехать, надолго. Ее забрали, сказали соседи, сначала на Зимний велодром, а потом отправят в лагерь под Дранси, а из Дранси – на восток, откуда никто не возвращается. И Ионатан не понял, что же произошло, это его совершенно сбило с толку, а через несколько дней исчез и отец, и Ионатан и его младшая сестра вдруг оказались в каком-то поезде, ехавшем на юг, и совершенно незнакомые люди вели их ночью по какому-то лугу и волокли через лес и снова посадили в поезд, ехавший на юг, куда-то далеко, непостижимо далеко, и какой-то дядя, которого они никогда прежде не видели, встретил их в Кавайоне и привел на свою ферму недалеко от местечка Пюже в долине Дюранса и прятал там до конца войны. Потом он отправил их работать на огороды.

В начале пятидесятых – Ионатан уже начинал находить некоторую прелесть в своей батрацкой жизни – дядя потребовал, чтобы он отслужил в армии, и Ионатан послушно завербовался на три года. Весь первый год ушел только на то, чтобы привыкнуть к мерзостям стадной и казарменной жизни. На второй год его отправили в Индокитай. Большую часть третьего года он провалялся в лазарете с огнестрельными ранами в ступне и голени и амёбной дизентерией. Вернувшись весной 1954 года в Пюже, он не застал сестры, говорили, что она эмигрировала в Канаду. Теперь дядя потребовал, чтобы Ионатан незамедлительно женился, а именно на девушке по имени Мари Бакуш из соседней деревни Лори, и Ионатан, который еще и в глаза не видел этой девушки, покорно и даже с удовольствием согласился, ибо, хотя он имел довольно туманное представление о браке, он все же надеялся обрести наконец-то состояние монотонного покоя и бессобытийности, которое было единственным, к чему он стремился. Но уже через четыре месяца Мари родила мальчика и той же осенью сбежала с каким-то тунисцем – торговцем фруктами из Марселя.

Из всех этих происшествий Ионатан сделал вывод, что полагаться на людей нельзя и, чтобы жить спокойно, следует держаться от них подальше. И поскольку он к тому же стал посмешищем всей деревни и это его раздражало – не из-за насмешек, а из-за того, что он привлекал к себе всеобщее внимание, – он впервые в жизни принял самостоятельное решение: пошел в банк «Креди агриколь», снял со счета свои сбережения, собрал чемодан и уехал в Париж.

Тут ему дважды очень повезло. Он нашел работу охранника в банке на улице де Севр, и еще он нашел себе пристанище, так называемую *chambre de bonne* на седьмом этаже доходного дома на улице де ла Планш. Чтобы попасть в эту комнату, нужно было пересечь задний двор, подняться по узкой лестнице черного хода и пройти по узкому коридору, тускло освещенному единственным окном. В коридор выходили две дюжины комнатушек с серыми нуме-

рованными дверьми, в самом конце коридора располагалась комната Ионатана, номер 24: три сорок в длину, два двадцать в ширину и два метра пятьдесят в высоту. Всю обстановку составляли кровать, стол, стул, электрическая лампочка и вешалка, больше ничего. Только в конце шестидесятых электропроводка была улучшена настолько, что можно было подключить к ней плиты и обогреватели; к комнатам подвели воду и установили в них раковины и колонки. А до этого все обитатели чердачного этажа, если они не прятали у себя контрабандной спиртовки, питались всухомятку, спали в нетопленных комнатах и стирали носки и мыли посуду холодной водой в единственной на весь коридор умывалке рядом с общей уборной. Все это вполне устраивало Ионатана. Он искал не комфорта, а надежного пристанища, которое принадлежало бы ему, и только ему, которое защитило бы его от неприятных неожиданностей жизни и из которого никто больше не посмел бы его изгнать. Впервые войдя в комнату 24, он сразу понял: вот оно, то, чего ты, собственно, всегда желал, здесь ты останешься навсегда. (Говорят, совершенно то же самое происходит с некоторыми мужчинами при так называемой любви с первого взгляда, когда они молниеносно решают, что впервые увиденная ими женщина – это женщина на всю жизнь, которой они овладеют и с которой останутся до конца своих дней.)

Ионатан Ноэль снял эту комнату за пять тысяч старых франков в месяц, отсюда он каждое утро уходил на службу на расположенную поблизости улицу де Севр, сюда возвращался вечерами с хлебом, колбасой, яблоками и сыром, ел, спал и был счастлив. По воскресеньям он вообще не выходил из дому, убирал комнату и застилал постель свежей простыней. Так он и жил, спокойный и довольный, из года в год, десятилетие за десятилетием.

Некоторые внешние условия жизни за это время изменились, например квартирная плата, тип жильцов. В пятидесятых годах соседние комнаты снимало еще довольно много служанок, молодых семейных пар, встречались и пенсионеры. Позже все чаще стали въезжать и выезжать испанцы, португальцы, североафриканцы. С конца шестидесятых большинство жильцов составляли студенты, но и они схлынули. Наконец некоторые комнаты перестали сдаваться внаем, они опустели или служили своим владельцам – господам из дорогих квартир на нижних этажах – в качестве чуланов для рухляди или запасных спален для гостей. Комната Ионатана – номер 24 – с течением времени стала довольно комфортабельным обиталищем. Он купил себе новую кровать, построил шкаф, застелил семь с половиной квадратных метров пола серым ковром, обклеил красными лакированными обоями угол с плитой и раковиной. У него было радио, телевизор и уют. Продукты он уже не вывешивал, как когда-то, в мешочке за окно, а хранил в крошечном холодильнике под раковиной, так что у него даже летом в самую сильную жару масло больше не таяло, а ветчина не сохла. Над изголовьем кровати он прибил полку, на которой стояло не меньше семнадцати книг, а именно трехтомный карманный медицинский словарь, несколько великолепно иллюстрированных изданий – о кроманьонцах, о технике литья в эпоху бронзы, о Древнем Египте, об этрусках и о Французской революции, одна книга о парусных судах, одна о флагах, одна о фауне тропиков, два романа Александра Дюма-отца, мемуары Сен-Симона, поваренная книга с рецептами густых супов, «Малый Ларусс» и «Краткий справочник для сотрудников охраны служебных помещений с особым учетом инструкций по использованию табельного пистолета». Под кроватью хранилась дюжина бутылок красного вина, в том числе одна бутылка Chateau Cheval Blanc grand cru classe, которую он собирался распить в день своего выхода на пенсию в 1998 году. Тщательно подогнанная система электрических лампочек позволяла Ионатану сидеть и читать газету в трех местах своей комнаты, а именно в ногах и в изголовье своей кровати, а также за столиком, так что при этом свет не бил в глаза, а на газету не падала тень.

Правда, из-за многочисленных приобретений комната стала еще меньше, она как бы разрослась внутрь, как раковина, в которой накопилось слишком много перламутра, и благодаря своим разнообразным приспособлениям напоминала скорее каюту корабля или роскошное купе спального вагона, чем простую chambre de bonne. Однако за прошедшие тридцать лет она

сохранила свое существенное свойство: для Ионатана она была и оставалась надежным островом в ненадежном мире, его твердой опорой, его прибежищем, его возлюбленной, да, возлюбленной, ибо, когда он по вечерам возвращался с работы, она, эта маленькая комната, нежно обнимала его, она его согревала и защищала, она питала его душу и тело, она была всегда готова принять его и никогда его не покидала. Она в самом деле была в его жизни единственным, на что можно было положиться. И поэтому он ни на минуту не допускал мысли, что ему придется расстаться с ней, даже теперь, когда ему было уже за пятьдесят и подчас бывало трудно взбираться по крутым лестницам на седьмой этаж, и жалованье позволило бы нанять настоящую квартиру с собственной кухней, клозетом и ванной. Он оставался верным своей возлюбленной и даже намеревался еще сильнее привязать себя к ней, а ее к себе. Он хотел сделать их отношения навеки нерушимыми, то есть купить ее. Он уже заключил договор с владелицей, мадам Лассаль. Это обойдется ему в пятьдесят пять тысяч новых франков. Сорок семь тысяч он уже выплатил. Остальные восемь тысяч будут уплачены к концу года. И тогда она станет принадлежать только ему, и ничто на свете, до самой смерти, не сможет разлучить их: Ионатана и его любимую комнату.

Так обстояли дела, когда в августе 1984 года, как-то утром в пятницу, произошла эта история с голубкой.

Ионатан только что встал. Он надел домашние туфли и набросил халат, чтобы, как всегда утром, перед бритьем, посетить туалет на этаже. Прежде чем открыть дверь, он приложил ухо к притолоке и прислушался, нет ли кого-нибудь в коридоре. Он не любил встречаться с соседями, тем более по утрам, в пижаме и купальном халате, а уж тем более по дороге в клозет. Ему было бы весьма неприятно обнаружить, что туалет занят; а уж встретиться с кем-нибудь из жильцов перед уборной... одна мысль о такой встрече приводила его в ужас. Она случилась с ним один-единственный раз, летом 1959 года, двадцать пять лет назад, и, вспоминая о ней, он содрогался: этот одновременный испуг при виде другого человека, одновременная потеря анонимности в ситуации, которая прямо-таки вопияла об анонимности, одновременное отшатывание и снова продвижение вперед, одновременное бормотание любезностей, только после вас, ах нет, после вас, месье, но мне совсем не к спеху, нет, нет, сперва вы, прошу вас... и все это в пижаме! Нет, он не желал больше никогда испытывать что-либо подобное, и он больше никогда не испытал ничего подобного благодаря своему профилактическому прислушиванию. Он знал на этаже каждый звук. Он мог расшифровать каждый треск, каждый скрип, каждый тихий всплеск или шорох, даже тишину. И теперь – всего на несколько секунд приложив ухо к двери – он совершенно точно знал, что в коридоре не было никого, что туалет свободен, что все еще спят. Левой рукой он повернул головку автоматического замка с секретом, правой – отодвинул собачку английского замка, щеколда отошла, он легко потянул дверь на себя, и она отворилась.

Он почти уже переступил порог, он уже занес ногу, левую, он чуть было не сделал шаг – и тут он увидел ее. Она сидела перед его дверью, примерно в двадцати сантиметрах от порога, в белесом отблеске утреннего света, проникавшего через окно. Сидела, уцепившись красными когтистыми лапами за бордовый плинтус коридора, в гладком, свинцово-сером оперенье: голубка.

Она склонила голову набок и уставилась на Ионатана своим левым глазом. Этот глаз – маленький, круглый диск, карий с черной точкой зрачка – внушал ужас. Он походил на пуговицу, пришитую к головному оперенью; без ресниц, без бровей, совершенно голый, он был бесстыдно обращен вовне и жутко открыт; но в то же время в нем была какая-то сдержанная закрытость; и все же он не казался ни открытым, ни закрытым, а просто безжизненным, как линза фотоаппарата, поглощающая весь внешний свет и не выпускающая изнутри ни единого



луча. В этом глазу не было ни блеска, ни мерцания, ни единой искры, ничего живого. Это был глаз без взгляда. И он пялился на Ионатана.

Он испугался до смерти – так, вероятно, он описал бы потом этот момент, но описание было бы неточным, потому что испуг пришел позже. Скорее, он был до смерти изумлен.

Может быть, пять, может быть, десять секунд – ему они показались вечностью – он стоял, застыв на пороге своей двери, держась рукой за собачку английского замка и занеся ногу, не в силах двинуться ни назад, ни вперед. Потом произошло какое-то едва заметное движение. То ли голубка переступила с одной лапы на другую, то ли немного распушила перья, – во всяком случае, ее тело встрепенулось, и одновременно веки ее сомкнулись, одно – сверху, другое – снизу, собственно, даже не веки, а какие-то резинообразные клапаны, которые поглотили глаз, как возникшие из ничего губы. На какой-то момент глаз исчез. И только теперь Ионатана пронизал страх, теперь, просто от ужаса, у него встали дыбом волосы. Он отпрянул назад, в комнату, и захлопнул дверь, пока глаз голубки не успел открыться снова. Он повернул автоматический замок с секретом, доковылял три шага до кровати и сел, дрожа, с бешено колотящимся сердцем. Лоб был ледяным, и он почувствовал, как на затылке и вдоль позвоночника выступает пот.

Первая его мысль была о том, что сейчас с ним случится инфаркт, или инсульт, или по меньшей мере сосудистый криз; ты как раз в подходящем возрасте, подумал он, когда человеку за пятьдесят – самое время для подобного несчастья. И он повалился боком на постель, и натянул одеяло на мерзнувшие плечи, и стал ожидать судорожных болей, колотья в груди и под лопаткой (он как-то прочел в своем карманном медицинском справочнике, что именно так проявляются неопровержимые симптомы инфаркта или медленного угасания сознания). Но ничего подобного не произошло. Пульс успокоился, кровь снова равномерно заструилась по сосудам головы и конечностей, не было и признаков паралича, характерных для инсульта. Ионатан мог шевелить пальцами ног и рук и двигать мускулами лица, а возможность корчить гримасы была знаком, что с органической и неврологической точек зрения все более или менее в порядке.

Зато в его мозгу за клубилась хаотическая масса совершенно неуправляемых пугающих мыслей, словно там, у него в голове, кричала и била крыльями стая черных ворон. «С тобой покончено! – каркали они. – Ты стар и немощен! Голубка запугает тебя до смерти, ты боишься ее, она загнала тебя назад, в комнату, она погубит тебя, возьмет в полон. Ты умрешь, Ионатан, умрешь, если не сейчас, то скоро, а твоя жизнь была ошибкой, ты ее прошляпил, раз тебя может привести в ужас какая-то голубка, ты должен ее убить, но ты не умеешь убивать, ты и мухи не обидишь, впрочем, муху-то ты убьешь, или мокрицу, или клеща, но никогда тебе не убить кровное существо, теплокровное создание весом в один фунт, скорее ты убьешь человека, этак ненароком, пиф-паф, это быстро, получается маленькая дырка, диаметр восемь миллиметров, это дело чистое и позволительное, это разрешается в порядке самозащиты, параграф первый служебной инструкции для сотрудников вооруженной внутренней и внешней охраны, это даже предписывается, и никто, ни один человек тебя не упрекнет, если ты застрелишь человека, напротив, но голубка? Как застрелить голубку? Она же трепещет крыльями, легко промахнуться, стрелять в голубя грубо и непристойно, это запрещено, это приведет к лишению служебного оружия, к потере рабочего места, ты попадешь в тюрьму, если станешь стрелять в голубку, нет, убить ее ты не можешь, но и жить, жить с ней ты тоже не сможешь, никогда; в доме, где живет птица, человек больше не может жить, птица – это воплощение хаоса и анархии, птица шныряет туда-сюда, за все цепляется, выклевывает глаза, она везде гадит и рассеивает заразные бактерии и вирусы менингита, она не останется одна, она приманит других голубей, это повлечет за собой половые отношения, начнется размножение, они плодятся с бешеной скоростью, целая стая голубей окружит тебя, возьмет в кольцо, ты больше не сможешь выйти из комнаты, умрешь с голоду, задохнешься в собственных испражнениях, тебе остается выброситься из окна и размокнуть о мостовую, да нет, где тебе, трусишь, запрещаешь в своей

комнате и будешь звать на помощь, кричать, чтобы вызвали пожарную команду с лестницами и спасли тебя от какой-то птицы, от голубки! Ты станешь посмешищем всего дома, посмешищем всего квартала, на тебя станут показывать пальцами и кричать: „Это месье Ноэль! Тот, кто умолял спасти его от птички!“, и тебя упекут в психиатрическую клинику: о Ионатан, Ионатан, твое положение безнадежно, ты погиб, Ионатан!»

Вот как вопило и каркало у него в голове, и Ионатан был так смущен и впал в такое отчаяние, что сделал нечто, чего не делал с детских лет, – он смиренно сложил руки для молитвы и запричитал: «Боже мой, Боже, почему Ты меня оставил? За что меня так караешь? Отче наш, иже еси на небесех, спаси меня от этой голубки, аминь!» Это не было, как мы видим, настоящей молитвой, скорее бормотанием каких-то обрывочных воспоминаний о его рудиментарном религиозном воспитании. Однако это помогло, потому что потребовало определенного сосредоточения и тем самым вспугнуло неразбериху мыслей. Кое-что помогло ему еще больше. Дело в том, что, едва договорив до конца свою молитву, он почувствовал такое непреодолимое желание помочиться, что понял: если ему не удастся облегчиться в течение ближайших нескольких секунд, он запачкает постель, на которой лежит, великолепную перину и даже прекрасный серый ковер. Это совершенно вывело его из себя. Застонав, он поднялся, с отчаянием взглянул на дверь... нет, сквозь эту дверь ему не пройти, даже если проклятая птица исчезла, ему уже не добежать до туалета... он подошел к раковине, сорвал с себя халат, спустил штаны, открыл кран и помочился в раковину.

Он никогда прежде не делал ничего подобного. Самая мысль о том, чтобы мочиться в красивую, белую, отчищенную до блеска раковину, предназначенную для умывания и мытья посуды, была чудовищной! Никогда, никогда он не думал, что может пасть так низко, что он вообще физически в состоянии совершить такое кощунство. И теперь, глядя, как неудержимо, без всякого стеснения льется его моча, как она смешивается с водой и бурлит и исчезает в отверстии, чувствуя блаженное облегчение в низу живота, он одновременно испытал такой стыд, что разрыдался. Когда все было кончено, он еще некоторое время не закрывал кран и основательно вычистил раковину жидким моющим средством, дабы устранить малейшие следы совершенного непотребства. «Один раз не в счет, – бормотал он про себя, словно извиняясь перед раковиной, перед комнатой или перед самим собой, – один раз не в счет, это была уникальная критическая ситуация, это, разумеется, никогда больше не повторится...»

Теперь он немного успокоился. Мытье раковины, возвращение на место бутылки с моющим средством, выжимание тряпки – привычные, приносящие умиротворение операции – снова вернули ему чувство времени. Он взглянул на часы. Было ровно четверть восьмого. Обычно в четверть восьмого он уже бывал выбрит и приступал к уборке постели. Сегодня он опаздывал, но он еще успеет наверстать упущенное время, если в крайнем случае не позавтракает. Если не завтракать, прикидывал он, то можно даже выиграть семь минут по сравнению с обычным распорядком. Главное – выйти из комнаты не позже чем в пять минут девятого, а в четверть девятого он обязан быть в банке. Он пока не придумал, как справиться с этой задачей, но у него еще оставалось в запасе три четверти часа. Это было много. Три четверти часа – большой срок, если ты только что заглянул в глаза смерти и едва избежал инфаркта. Это вдвое больше времени, если ты не испытываешь императивного давления со стороны переполненного мочевого пузыря.

Итак, он решил для начала вести себя так, словно ничего не случилось, и заняться своими обычными утренними делами. Он напустил в раковину горячей воды и побрился.

Во время бритья он предавался глубоким размышлениям. «Ионатан Ноэль, – говорил он себе, – ты два года служил солдатом в Индокитае и не раз выходил целым из еще худших передраг. Собери все свое мужество, всю смекалку, всю выдержку, и если повезет, ты сумеешь совершить прорыв из своей комнаты. Но даже если и сумеешь? Допустим, ты в самом деле прорвешься мимо этого отвратительного существа перед твоей дверью, невинно достигнешь

лестницы черного хода и окажешься в безопасности. Ты сможешь отправиться на службу, сможешь дожить до конца дня – но что тебе делать дальше? Куда ты пойдешь сегодня вечером? Где будешь ночевать?» Ибо для него было непреложным фактом, что, даже ускользнув от голубки один раз, встречать ее второй раз он не собирался ни при каких обстоятельствах; он не смог бы прожить с ней под одной крышей ни единого дня, ни единой ночи, ни единого часа. Значит, он должен быть готов провести эту ночь и, может быть, следующие ночи в каком-нибудь пансионе. Это означало, что ему придется взять с собой бритвенный прибор, зубную щетку и перемену белья. Кроме того, понадобится чековая книжка и на всякий случай – сберегательная книжка. Этого хватит на две недели, при условии, что он найдет дешевый отель. Если голубка и потом все еще будет блокировать его комнату, придется снимать деньги со срочного вклада. На срочном вкладе у него лежало шесть тысяч франков, целая куча денег. На это он сможет несколько месяцев жить в отеле. И, кроме того, он же получает жалованье, три тысячи семьсот франков в месяц чистыми. С другой стороны, в конце года он собирался выплатить мадам Лассаль восемь тысяч франков, последний взнос за комнату. За его комнату. За ту комнату, где он даже не будет жить. А как он изложит мадам Лассаль просьбу об отсрочке последнего платежа? «Мадам, я не могу уплатить вам последний взнос, потому что уже несколько месяцев живу в отеле, поскольку комната, которую я хочу у вас купить, заблокирована одной голубкой»? Вряд ли у него достанет духу сказать такое... Тут он вспомнил, что у него еще есть пять золотых монет, пять наполеондоров, из которых каждая тянет не меньше чем на шестьсот франков, он купил их в 1958-м, во время алжирской войны, из страха перед инфляцией. Только бы не забыть взять их с собой, только бы не забыть... И еще у него был узкий золотой браслет его матери. И транзисторный приемник. И очень приличная посеребренная шариковая ручка, все служащие банка получили такие ручки в подарок к Рождеству. Если продать эти сокровища, можно, соблюдая строжайшую экономию, жить в отеле до Нового года и все-таки уплатить последний взнос мадам Лассаль. С 1 января положение должно исправиться, ведь тогда он уже станет владельцем комнаты и ему не придется платить квартплату. А может быть, голубка не переживет зиму. Сколько живут голубы? Два года? Три? Десять лет? А может, эта уже старая? Может, она умрет через неделю? Может, она умрет уже сегодня? Может, она вообще появилась только для того, чтобы умереть...

Он закончил бритье, выпустил воду из раковины, ополоснул ее, снова напустил воды, вымылся до пояса, вымыл ноги, почистил зубы, снова спустил раковину и насухо вытер ее тряпкой... Потом убрал постель.

Под шкафом у него стоял старый фибровый чемодан для грязного белья, раз в месяц он ходил с ним в прачечную. Вытащив чемодан, он опорожнил его и поставил на кровать. Это был тот самый чемодан, с которым он приехал в Париж в пятьдесят четвертом году. Когда он снова увидел на своей постели этот старый чемодан и начал укладывать в него не грязное, а чистое белье, пару туфель, бритвенный прибор, утюг, чековую книжку и драгоценности – как будто собирался в путешествие, – его глаза снова наполнились слезами, но слезами не стыда, а тихого отчаяния. Ему показалось, что жизнь отбросила его на тридцать лет назад, что он потерял тридцать лет своей жизни.

Когда он уложил чемодан, было без четверти восемь. Он оделся: сначала, как обычно, надел мундир (серые брюки, синяя рубашка, кожаная куртка, кожаная португеза с карманом для пистолета, серая форменная фуражка). Затем он снарядился для встречи с голубкой. Самое большое омерзение у него вызывала мысль о том, что она может войти с ним в физический контакт, например клонуть его в лодыжку, или, вспорхнув, задеть крыльями его руки или шею, или даже просто усесться на него, вцепившись своими когтистыми растопыренными лапами. Поэтому он вместо легких туфель натянул высокие грубые кожаные сапоги на толстой подошве из бараньей кожи, которые обычно надевал только в январе или в феврале, влез в зимнее пальто, застегнул его на все пуговицы сверху донизу, замотал шею до самого подбородка шер-

стяным шарфом и защитил руки кожаными перчатками на подкладке. В правую руку он взял зонт. Снаряженный таким образом, он приготовился к прорыву из квартиры. Было без семи минут восемь.

Он снял форменную фуражку и приложил ухо к двери. Тихо. Он снова надел фуражку, глубже надвинул ее на лоб, взял чемодан и поставил его наготове у двери. Чтобы освободить правую руку, он повесил зонт на запястье, ухватился правой рукой за собачку английского замка, левой рукой за головку автоматического замка с секретом, оттянул задвижку и приоткрыл дверь на ширину щели. Он выглянул в коридор.

Перед дверью голубки не было. На полу, где она сидела, находились теперь изумрудно-зеленые кляксы величиной с пятифранковую монету, а в воздухе тихо дрожало крошечное белое пуховое перо. Ионатан вздрогнул от отвращения. Ему захотелось немедленно снова захлопнуть дверь. Всем существом он инстинктивно отшатнулся назад, назад в свою надежную комнату, прочь от того омерзительного, что было снаружи. Но тут он увидел, что то пятно, та клякса была не единственной, что пятен было много, что весь участок коридора в поле его зрения был заляпан изумрудно-зелеными, влажно мерцавшими пятнами. И тогда произошла странная вещь: множество отвратительных знаков не только не усилили омерзения Ионатана, но, напротив, укрепили его волю к сопротивлению – перед одной-единственной кляксой он бы, наверное, отступил и закрыл бы дверь, навсегда. Но то, что голубка явно загадила своим пометом весь коридор – эта обыденность ненавистного явления, – мобилизовало всю его отвагу. Он распахнул дверь.

Теперь он увидел голубку. Она сидела справа, на расстоянии полутора метров, вжавшись в угол в конце коридора. Туда попадало так мало света, и Ионатан бросил столь короткий взгляд в этом направлении, что не смог рассмотреть, спала она или бодрствовала, был ли ее глаз открыт или закрыт. Да он и не хотел этого знать. Он предпочел бы не видеть ее вовсе. В книге о тропической фауне он как-то прочел, что некоторые животные, в частности орангутанги, бросаются на человека только тогда, когда тот смотрит им в глаза: если их проигнорировать, они оставят тебя в покое. Может быть, это касается и голубей. Во всяком случае, Ионатан решил сделать вид, что голубки больше нет, по крайней мере, не смотреть на нее.

Он медленно вытащил за дверь чемодан и осторожно протащил его по коридору между зелеными кляксами. Потом раскрыл зонт, держа его левой рукой перед грудью и лицом, словно щит, двинулся по коридору, стараясь не наступить на кляксы на полу, и закрыл за собой дверь. Несмотря на все усилия сделать вид, что ничего не случилось, он все-таки снова струсил, сердце чуть не выскочило из груди, пальцы в перчатке с трудом извлекли из кармана ключ, но при этом Ионатана била такая нервная дрожь, что он чуть не выронил зонт, и пока он правой рукой подхватывал зонт, чтобы зажать его между плечом и щекой, ключ и в самом деле упал на пол, едва не угодив в одну из клякс, и пришлось нагнуться, чтобы поднять его, а когда наконец ключ оказался в руке, то от возбуждения Ионатан трижды промахнулся, прежде чем воткнул ключ в скважину и дважды повернул. В этот момент ему послышался за спиной шорох крыльев... или он просто задел зонтом за стену?.. Но потом он снова отчетливо расслышал короткий сухой хлопок крыльев, и тут его охватила паника. Он рванул ключ из замка, рванул к себе чемодан и бросился вон, обдирая об стену раскрытый зонт, грохая чемоданом в двери других комнат. В середине коридора он наткнулся на створки раскрытого настежь окна, протиснулся мимо них, волоча за собой зонт, так стремительно и неуклюже, что обтяжка разлетелась в клочья, но он и внимания не обратил, ему было все равно, только бы прочь отсюда, прочь, прочь.

Только достигнув лестничной клетки, он на мгновение остановился, чтобы закрыть ставший помехой зонт, и оглянулся назад: ясные лучи утреннего солнца падали через окно, образуя четкий квадрат света на сумрачной тени коридора. Свет слепил глаза, и, только прищурившись и напрягая зрение, Ионатан увидел, как где-то там, далеко позади, голубка вышла из темного

угла, сделала несколько быстрых ковыляющих шагов вперед и затем снова уселась прямо перед дверью его комнаты.

Он с омерзением отвернулся и стал спускаться по лестнице. В этот момент он был твердо уверен, что никогда больше не сможет прийти сюда снова.

Спускаясь по лестнице, он понемногу успокаивался. На площадке третьего этажа, обливаясь потом, он вдруг осознал, что на нем все еще зимнее пальто, шарф и сапоги на меху. В любой момент из дорогих нижних квартир через кухонные двери на черный ход могла выйти какая-нибудь служанка, отправленная за покупками, или месье Риго, имевший привычку выставлять сюда свои пустые винные бутылки, или даже сама мадам Лассаль, мало ли по какой причине, – она ведь встает рано, мадам Лассаль, она и теперь уже встала, весь подъезд благоухал назойливым ароматом ее утреннего кофе... а вдруг мадам Лассаль откроет кухонную дверь и выглянет на черный ход, а перед ней на лестнице – Ионатан в нелепом зимнем облачении, а на дворе август и всюду светит солнце... такое неприличие нельзя просто оставить без внимания, ему придется объясняться, а что он скажет? Придется лгать, но что? Его теперешнему виду невозможно найти никакого приемлемого объяснения. Его только примут за сумасшедшего. Может быть, он и вправду сошел с ума.

Он поставил чемодан, вынул из него туфли и быстро стащил с себя перчатки, пальто, шарф и сапоги, затолкал в чемодан шарф, перчатки и сапоги, а пальто перекинул через руку. Теперь вроде он никого не шокирует своим видом. В случае надобности он всегда может сказать, что несет белье в прачечную, а зимнее пальто – в чистку. Эта мысль принесла облегчение, и он продолжил свой спуск.

Во дворе он столкнулся с консьержкой, которая как раз ввозила с улицы на тележке пустые мусорные баки. Он остановился как вкопанный, не в силах двинуться ни взад, ни вперед. Путь к отступлению в подъезд был отрезан, она уже заметила его, пришлось двигаться дальше. «Добрый день, месье Ноэль», – бросила она, проходя мимо нарочито наглой походкой.

«Добрый день, мадам Рокар», – только и мог пробормотать он. Больше они не обменялись ни словом. За десять лет, что она служила в доме, он не сказал ей ничего, кроме «Добрый день, мадам», «Добрый вечер, мадам» и «Спасибо, мадам», когда она вручала ему почту. Не то чтобы он имел что-то против нее. Ее нельзя было назвать приятной. Она была такой же, как ее предшественница и как предшественница ее предшественницы. Такой же, как все консьержки: неопределенный возраст – не то под пятьдесят, не то под семьдесят, шаркающая походка, полноватая фигура, мучнистый цвет лица, затхлый запах. Она либо ввозила и вывозила мусорные баки, мыла лестницы, спешила за покупками, либо сидела при неоновом свете в своей маленькой каморке в крытом проходе между двором и улицей и, включив телевизор, шила, гладила, варила и напивалась дешевым красным вином и вермутом, как всякая другая консьержка. Нет, он действительно ничего против нее не имел. Просто он вообще терпеть не мог консьержей, потому что консьержи – это люди, которые в силу своей профессии постоянно следят за другими людьми. А мадам Рокар, в частности, была тем человеком, который постоянно следил, в частности, за ним, Ионатаном. Было совершенно невозможно пройти мимо мадам Рокар так, чтобы она не приняла вас к сведению и не проводила хотя бы самым коротким, едва заметным взглядом. Даже когда она засыпала, сидя на своем стуле в привратничкой – что случалось главным образом в ранние послеобеденные часы и после ужина, – достаточно было легкого скрипа входной двери, чтобы она на несколько секунд проснулась и оглядела входящего. Никто на свете так часто и так пристально не глядел на Ионатана, как мадам Рокар. Друзей у него не водилось. В банке он принадлежал, так сказать, к инвентарю. Клиенты смотрели на него как на реквизит. В супермаркете, на улице, в автобусе (он уж и забыл, когда ездил на автобусе!) его анонимность гарантировалась массой других людей. Одна-единственная мадам Рокар знала и узнавала его в лицо и по меньшей мере дважды в день без всякого стеснения удостоивала

своим откровенным вниманием. При этом она могла получить о нем весьма интимные сведения, как-то: как он одевается; сколько раз в неделю меняет рубашку; вымыл ли голову; что он принес домой на ужин; получает ли письма и от кого. И хотя Ионатан, как было сказано, в самом деле не имел никаких личных претензий к мадам Рокар, и хотя он прекрасно знал, что ее нескромные взгляды следует приписать отнюдь не любопытству, но профессиональному чувству долга, он все равно постоянно ощущал их на себе как молчаливый упрек, и каждый раз, проходя мимо мадам Рокар – вот уже в течение многих лет, – чувствовал, что его захлестывает короткая, горячая волна возмущения: «Какого черта она снова пялится на меня? Почему снова устраивает мне проверку? Почему раз и навсегда не оставит меня в покое? Почему каждый раз узнает? Почему люди так назойливы?»

И так как сегодня из-за произошедших событий он был особенно раздражителен и считал, что выставляет на всеобщее обозрение убожество своего существования в виде чемодана и зимнего пальто, пристальные взгляды мадам Рокар показались ему особенно презрительными, а ее обращение «Добрый день, месье Ноэль!» – откровенным издевательством. И волна возмущения, которую он до сих пор сдерживал за прочной дамбой вежливости, прорвалась наружу в виде внезапного приступа ярости: он сделал нечто такое, чего не делал никогда. Уже пройдя мимо мадам Рокар, он остановился, поставил на землю чемодан, положил на него свое зимнее пальто и обернулся, полный отчаянной решимости наконец хоть как-то противостоять беспардонности ее взглядов и приставаний. Подходя к ней, он еще не знал, что сделает или скажет. Взметнувшаяся в нем волна возмущения несла его с собой, и отвага его не имела границ.

Она уже сгрузила мусорные баки и собиралась удалиться в свою каморку, когда он задержал ее почти посреди двора. Они остановились примерно в полуметре друг от друга. Он еще никогда так близко не видел ее мучнистого лица. Пористая кожа на щеках показалась ему нежной, как старая хрупкая папиросная бумага, а в ее глазах, карих глазах, если смотреть с близкого расстояния, не было больше никакой презрительной беспардонности, скорее что-то мягкое, почти по-девичьи робкое. Но и при виде этих подробностей – которые, право же, мало соответствовали представлению, составленному им о мадам Рокар, – Ионатан не дал ввести себя в заблуждение. Чтобы придать своему выступлению официальный оттенок, он прикоснулся пальцами к форменной фуражке и произнес довольно резким голосом: «Мадам! Я должен вам кое-что сказать!» (До этого мгновения он все еще не знал, что, собственно, он собирался ей сказать.)

«Что, месье Ноэль?» – спросила мадам Рокар и едва заметным судорожным движением откинула голову назад.

Она похожа на птицу, подумал Ионатан, на маленькую испуганную птицу. И он резким тоном повторил свое обращение: «Мадам, я хотел бы сказать вам следующее...», чтобы, к своему собственному изумлению, услышать, как все еще взмывающее вверх возмущение без всякого участия с его стороны преобразуется во фразу: «Перед моей комнатой находится какая-то птица, мадам, – и дальше, уточняя, – голубь, мадам. Сидит на полу перед моей комнатой». И только на этом месте ему удалось обуздать рвущуюся как бы из подсознания речь и направить ее в определенное русло: «Эта птица, мадам, уже загадила весь коридор на седьмом этаже».

Мадам Рокар несколько раз переступила с одной ноги на другую, еще сильнее откинула голову назад и сказала: «Откуда тут голубь?»

«Не знаю, – произнес Ионатан. – Вероятно, птица проникла через окно. Окно в коридоре раскрыто настежь. Окна должны быть всегда закрыты. Это предусмотрено правилами домового распорядка».

«Наверное, студенты открыли, – сказала мадам Рокар, – из-за жары».

«Возможно, – сказал Ионатан. – Тем не менее окно должно быть закрыто. Особенно летом. Если начнется гроза, оно может захлопнуться, а стекло разбиться. Однажды это уже

произошло, летом 1962 года. Замена стекла обошлась тогда в пятьдесят пять франков. С тех пор в правилах домового распорядка значится, что окно должно всегда оставаться закрытым».

Он, конечно, заметил, что в его постоянных ссылках на правила домового распорядка было что-то смешное. И его вовсе не интересовало, каким образом голубка проникла в коридор. Он вообще не желал вдаваться в дискуссии о голубке, эта ужасная проблема касалась только его. Он хотел дать выход своему возмущению назойливыми взглядами мадам Рокар, больше ничего, и сделал это в первых фразах. Теперь его возмущение улеглось. Теперь ему было больше нечего сказать.

«Надо прогнать голубя и закрыть окно», – сказала мадам Рокар. Сказала так, словно это было самое простое на свете дело и словно потом все будет в порядке. Он завяз взглядом в глубине ее карих глаз, еще немного, и он начнет погружаться в мягкое коричневое болото, и ему пришлось на секунду закрыть глаза, чтобы снова выбраться из этой глубины и перевести дух и снова обрести голос.

«Дело в том, – начал он, еще раз переведя дух, – дело в том, что там полно помета. Везде зеленые следы. И перья. Она запачкала весь коридор. В этом основная проблема».

«Разумеется, месье, – сказала мадам Рокар, – коридор надо вымыть. Но сначала нам нужно прогнать птицу».

«Да, – сказал Ионатан, – да, да...», и подумал: «Что она имеет в виду? Чего хочет? Почему говорит „нам“? Может, она думает, что эту голубку прогоню я?» И он пожалел, что вообще рискнул обратиться к мадам Рокар.

«Да, да... – лепетал он, – ее нужно, нужно прогнать. Я... я бы и сам ее давно прогнал, но не успел. Я тороплюсь. Видите, у меня с собой белье и зимнее пальто. Мне необходимо отнести пальто в чистку, а белье в прачечную, а потом успеть на службу. Я очень тороплюсь, мадам, поэтому и не прогнал эту голубку. Я просто ставлю вас в известность. Прежде всего из-за следов. Загрязнение коридора птичьим пометом – это главная проблема, это нарушение правил домового распорядка. В правилах домового распорядка значится, что коридор, лестница и туалет должны постоянно содержаться в чистоте».

Он не мог припомнить, чтобы когда-либо в жизни говорил столь пространно и путано. Казалось, ложь так и лезла в глаза, а единственная правда, которую должна была закамуфлировать ложь, что он никогда и ни за что на свете не смог бы прогнать голубку и что, напротив, голубка сама уже прогнала его, обнажалась самым мучительным образом. И даже если мадам Рокар не расслышала этой правды в его словах, она теперь, очевидно, прочтет ее по его лицу, ибо он чувствовал, как ему становится жарко, как кровь бросается в голову и как пылают от стыда его щеки.

Однако мадам Рокар сделала вид, что ничего не замечает (или она и вправду ничего не заметила?), и только сказала: «Спасибо за указание, месье. При случае я займусь этим делом». Она опустила голову, сделала большой крюк, обходя Ионатана, и, шаркая шлепанцами, направилась к уборной возле привратничкой, где и скрылась.

Ионатан поглядел ей вслед. Если в нем еще теплилась слабая надежда, что кто-то может спасти его от голубки, то теперь эта надежда исчезла, как исчезла из поля его зрения мадам Рокар, скрывшаяся за дверью уборной. «Ничем она не займется, – подумал он. – И не подумает. Очень ей нужно. Она всего лишь консержка и, как таковая, обязана мести лестницу и коридор и раз в неделю мыть общий клозет, а не прогонять какую-то голубку. К вечеру накачается вермутом и забудет про все это, если не забыла уже сейчас, сию же секунду...»

Точно в восемь пятнадцать Ионатан появился у банка, ровно за пять минут до того, как прибыли заместитель директора месье Вильман и мадам Рок, старший кассир. Они вместе открыли главный портал: Ионатан – внешнюю раздвижную решетку, мадам Рок – внешнюю бронированную стеклянную дверь, месье Вильман – внутреннюю бронированную стек-

лянную дверь. Затем Ионатан и месье Вильман отключили сигнализацию, Ионатан и мадам Рок открыли двойную огнеупорную дверь в подвальный этаж, мадам Рок и месье Вильман спустились в подвал, чтобы своими взаимодополняющими ключами открыть хранилище, а Ионатан, который тем временем запер в подсобке около туалета чемодан, зонт и зимнее пальто, встал около внутренней бронированной стеклянной двери и начал впускать постепенно прибывавших на работу служащих, нажимая попеременно на две кнопки, из коих одна автоматически отодвигала щеколду на внешней, а вторая – на внутренней бронированной стеклянной двери, по принципу шлюза. В восемь сорок пять все служащие были в сборе, каждый занял рабочее место у окошка, в кассовом зале или в кабинетах, и Ионатан покинул банк, чтобы занять свой пост на мраморных ступенях перед главным порталом. Собственно, это и была его настоящая служба.

Эта служба вот уже тридцать лет состояла лишь в том, что Ионатан с девяти утра до часу дня и с половины третьего до половины шестого проводил время, стоя перед порталом или перемещаясь, всегда размеренным шагом, вверх и вниз по трем нижним ступеням мраморной лестницы. Примерно в половине десятого и где-то между половиной пятого и пятью это занятие ненадолго прерывалось прибытием и соответственно отъездом черного лимузина месье Ределя, директора банка. Следовало оставить пост на мраморной лестнице, спешно пройти примерно двенадцать метров вдоль здания до арки ворот, ведущих во двор, поднять тяжелую стальную решетку, приложить руку в знак почтительного приветствия к козырьку фуражки и пропустить лимузин. Нечто подобное могло случиться рано утром или в поздние послеполуденные часы, когда появлялся бронированный автомобиль фирмы Бринк «Транспортировка ценных грузов». Перед ним также следовало открыть стальную решетку, его тоже полагалось приветствовать, но не поднося почтительно к виску всю ладонь, а мимолетным дружеским жестом касаясь козырька указательным пальцем. Других дел не было. Ионатан стоял, глядел прямо перед собой и ждал. Иногда он глядел на свои ноги, иногда на тротуар, иногда на кафе на другой стороне улицы. Иногда он прохаживался по самой нижней ступени – семь шагов налево, семь шагов направо – или покидал нижнюю ступень и становился на второй, а иногда, если солнце слишком уж припекало и от жары под козырьком фуражки скапливался пот, он даже взбирался на третью снизу ступень, куда падала тень от козырька портала, чтобы там на короткий миг снять фуражку и утереть рукавом влажный лоб, остаться стоять, глядеть и ждать.

Однажды он подсчитал, что до выхода на пенсию ему предстояло провести, стоя на этих трех мраморных ступенях, семьдесят пять тысяч часов. Тогда он наверняка стал бы человеком, который дольше всех в Париже и даже во всей Франции простоял бы на одном и том же месте. Вероятно, он и теперь, проведя на мраморных ступенях только пятьдесят пять тысяч часов, является таким человеком. Ведь в городе осталось очень немного штатных сторожей. Большинство банков заключили контракты с так называемыми фирмами по охране объектов, и те присылают им молодых, широко расставляющих ноги, глядящих исподлобья парней, которых через несколько месяцев, часто даже через несколько недель, сменяют другие, такие же молодые и такие же угрюмые парни – якобы по соображениям психологической эффективности труда. Говорят, внимание охранника ослабевает, если он слишком долго служит на одном и том же месте; восприятие происходящих вокруг событий притупляется: он становится вялым, равнодушным и тем самым неспособным к исполнению своих обязанностей...

Чушь! Ионатану лучше знать: внимание охранника ослабевает уже через несколько часов. Свое окружение, то бишь сотни людей, входящих в банк, он не воспринимал сознанием с первого дня, да в этом и не было никакой нужды, потому что грабителя все равно нельзя отличить от клиента. И даже если бы охранник мог распознать грабителя и попытался его остановить, то был бы убит, мертв, прежде чем успел бы расстегнуть кобуру: ведь у грабителя всегда есть преимущество внезапности.



Охранник, считал Ионатан, подобен сфинксу (в одной из своих книг он однажды читал о сфинксах). Он производит впечатление не действиями, а простым физическим присутствием. Все, что он может противопоставить грабителю, – это свое присутствие, и только. «Ты вынужден пройти мимо меня, – говорит сфинкс осквернителю могил, – я не могу тебя остановить, но ты должен пройти мимо меня; и если ты дерзнешь совершить это, тебе придется меня застрелить, и тебя настигнет месть правосудия в виде приговора за убийство!»

Конечно, Ионатан прекрасно знал, что в распоряжении сфинкса имеются куда более действенные средства, чем у охранника. Охранник не может рассчитывать на месть богов. И даже в том случае, если грабитель плевать хотел на грядущее возмездие, сфинксу не грозит почти никакая опасность. Сфинкс вырублен из базальта, высечен из цельной скалы, отлит в металле или прочно зацементирован. Сфинкс без труда переживет осквернение гробницы на пять тысяч лет... А охраннику в случае ограбления банка придется расстаться с жизнью уже через каких-нибудь пять секунд. И все-таки они были похожи, сфинкс и охранник, считал Ионатан, ибо власть того и другого не была исполнительной, она была символической. И только благодаря осознанию этой символической власти, которая составляла его гордость и его достоинство, которая придавала ему силы и стойкость, которая защищала его лучше, чем внимательность, оружие или бронированное стекло, Ионатан простоял на мраморных ступенях, охраняя банк, вот уже тридцать лет, без страха, без сомнений в себе, без малейшего чувства недовольства и без угрюмого выражения лица – до сегодняшнего дня.

Но сегодня все было иначе. Сегодня Ионатану никак не удавалось обрести спокойствие сфинкса. Уже через несколько минут он ощутил груз собственного тела как болезненное давление на подошвы, перенес центр тяжести с левой ноги на правую и снова на левую, при этом его слегка зашатало, и ему пришлось сделать несколько маленьких шагов в сторону, чтобы сохранить равновесие, а ведь прежде он умел всегда держать тело в строго вертикальном положении. К тому же у него вдруг начался зуд на бедре, зачесались грудь и затылок. Через некоторое время ему показалось, что лоб стал сухим и зашелушился, как бывает зимой, а ведь теперь стояла жара, хотя времени было всего четверть десятого, невыносимая, неподобающая жара, лоб вспотел так, словно сейчас уже половина двенадцатого... чесались руки, грудь, спина, ноги до самого низа, зудело везде, где была кожа, он готов был расчесать себя всего, жадно, безудержно, но ведь охраннику не положено чесаться на глазах у всех! И он глубоко вздохнул, выпятил грудь, напряг и расслабил мускулы спины, приподнял и опустил плечи и таким образом потерялся изнутри о свою одежду, чтобы доставить себе облегчение. Эти непривычные пожевывания и подергивания снова вывели его из равновесия, для сохранения которого было уже недостаточно маленьких шагов в сторону, и Ионатан был вынужден еще до появления лимузина месье Ределя, то есть до половины десятого, отказаться от стояния на посту в позе статуи и перейти к патрулированию взад-вперед, семь шагов налево, семь шагов направо. При этом он пытался зафиксировать взгляд на металлической бровке второй мраморной ступени и перемещать его туда-сюда, как вагончик по надежному рельсу, чтобы этот равномерно вводимый в поле зрения вид окантованного металлом края ступени установил внутри его желанную невозмутимость сфинкса, которая заставила бы его забыть о тяжести собственного тела и зуде по всей коже и вообще обо всей странной неразберихе плоти и духа. Но ничего не вышло. Вагончик постоянно сходил с рельса. Взгляд то и дело отрывался от проклятой бровки, и в поле зрения попадали совсем другие вещи: обрывок газеты на тротуаре; нога в голубом носке; женская спина; корзина с хлебом; ручка внешней бронированной стеклянной двери; светящийся красный ромб табачного киоска у кафе напротив; велосипед; соломенная шляпа; чье-то лицо... Но зафиксировать взгляд, вобрать в себя некий образ, чтобы остановиться и сориентироваться, никак не удавалось. Едва справа в поле зрения оказывалась соломенная шляпа, как слева наезжал автобус, увлекая взгляд за собой вниз по улице, но уже через несколько метров его сменял белый спортивный «кабриолет», снова уводивший внимание по улице вверх,

а в это время соломенная шляпа исчезала: взгляд напрасно разыскивал ее среди прохожих, среди множества шляп, останавливался на какой-то розе, подрагивавшей на совсем другой шляпе, отрывался от нее, наконец, снова падал на бровку ступени, снова не мог остановиться, устремлялся дальше, не находя покоя, перескакивал с точки на точку, с пятна на пятно, с линии на линию... Казалось, сегодня в воздухе висело какое-то горячее мерцание, характерное только для самого жаркого июльского полдня. Все вещи окутывала прозрачная дрожащая дымка. Контуры домов, линии крыш, фронтоны с пронзительной яркостью вычерчивались на фоне неба, но в то же время лохматились, словно обшитые бахромой. Края дождевых желобов и зазоры между каменными плитами тротуара, обычно прямые, словно проведенные по линейке, сегодня извивались искрящимися кривыми. А все женщины были одеты в броские платья, они, как языки пламени, пронеслись мимо, увлекая за собой взгляд, но все-таки не давали ему задержаться на себе. Все очертания расплывались. Ничего нельзя было ясно рассмотреть. Все мелькало и мельтешило.

«Что-то у меня с глазами, – думал Ионатан. – За одну ночь я стал близоруким. Нужны очки». Ребенком ему пришлось один раз носить очки, не сильные, минус семьдесят пять сотых диоптрий для правого и левого. Странно, что эта близорукость снова докучает ему в пожилом возрасте. Он где-то читал, что с возрастом у людей развивается дальность зрения, а близорукость проходит. Может быть, он страдает не классической близорукостью, а чем-то таким, чему очки не помогут, может, у него бельмо, или глаукома, или отслойка роговицы, или рак глаза, или опухоль мозга, которая давит на глазной нерв...

Он был так поглощен этими ужасными мыслями, что короткие повторные гудки автомобиля не сразу дошли до его сознания. Только после четвертого или пятого гудка – теперь уже продолжительных – он услышал, и отреагировал, и поднял голову: действительно, перед воротами уже стоял черный лимузин месье Ределя! Раздался еще один гудок, и из машины ему даже помахали рукой, значит лимузин простоял уже несколько минут. Перед воротами с опущенной решеткой! Лимузин месье Ределя! Как же он прозевал его приближение? Обычно он ощущал его, даже не оглядываясь, угадывал по едва слышному гудению мотора, он, как собака, сумел бы расслышать лимузин месье Ределя даже сквозь сон и тут же проснуться...

Он не поторопился, он бросился к нему бегом, чуть было не упав в спешке, он отпер ворота, распахнул их, отдал честь, чувствуя, как колотится сердце и дрожит рука у козырька фуражки.

Заперев ворота, он вернулся на свой пост; он весь взмок от пота. «Ты прошляпил лимузин месье Ределя, – бормотал он дрожащим от отчаяния голосом и все повторял, словно в бреду: – Ты прошляпил лимузин месье Ределя... ты его прошляпил, ты не справился со службой, ты грубо пренебрег своими обязанностями, ты не только ослеп, ты оглох, ты беспомощен и стар, ты больше не годишься на должность охранника».

Он добрался до нижней ступени мраморной лестницы, взобрался на нее и попытался снова принять достойную позу. Он сразу понял, что ему это не удалось. Плечи не желали держаться прямо, руки болтались у лампасов. Он знал, что в этот момент выглядит комично, но ничего не мог с этим поделать. С тихим отчаянием он глядел на тротуар, на улицу, на кафе напротив. Мерцание воздуха улеглось. Вещи снова приняли вертикальное положение, линии выпрямились, мир перед его глазами обрел отчетливость очертаний. Он слышал шум транспорта, шорох автобусных шин, крики официантов из кафе, постукивание женских каблучков. Его слух и зрение ничуть не ухудшились. Но со лба градом лил пот. Он чувствовал слабость. Он повернулся, поднялся на вторую ступень, поднялся на третью ступень и встал в тени, вплотную к колонне рядом с внешней бронированной стеклянной дверью. Заведя руки за спину, так что они касались колонны, он стал мягко отклоняться назад, опираясь на руки и колонну, пока не прислонился к ней, впервые за тридцать лет. И на несколько секунд прикрыл глаза. Так ему было стыдно.

В обеденный перерыв он забрал из подсобки чемодан, пальто и зонт и отправился на близлежащую улицу Сент-Пласид, в маленький отель, где жили в основном студенты и рабочие-иностранцы. Он попросил самый дешевый номер, ему предложили такой за пятьдесят пять франков, он взял его, не осматривая, оплатил, оставил свои вещи у администратора. В каком-то ларьке купил себе два рогалика с изюмом и пакет молока и перешел на другую сторону улицы в сквер Бусико, маленький парк рядом с универмагом. Сел на скамью в тени и поел.

На третьей от него скамейке расположился клошар. Поставив между коленями бутылку белого вина, он держал в руке полбатона, а рядом с ним на скамье лежал кулек с копчеными сардинами. Он вытаскивал из кулька сардины одну за другой, откусывал им головы, выплевывал, а остаток отправлял в рот. За сардиной следовал кусок хлеба, большой глоток вина из бутылки и блаженный стон. Ионатан знал этого нищего. Зимой он всегда сидел у черного входа в магазин на решетках над котельной, а летом – перед лавчонками на улице де Севр или у почты. Он жил в этом квартале десятилетия, так же долго, как Ионатан. И Ионатан вспомнил, как тогда, тридцать лет назад, впервые увидев клошара, пережил что-то вроде приступа бешеной зависти, зависти к беззаботному образу жизни этого человека. Ионатан являлся на службу ежедневно ровно в девять, а клошар часто волинил до десяти или даже до одиннадцати; Ионатан должен был стоять столбом, а тот разваливался с комфортом на каком-нибудь куске картона и при этом курил; Ионатан, рискуя жизнью, час за часом, день за днем охранял банк и в поте лица зарабатывал на хлеб насущный, а этот тип только и делал, что полагался на сострадание и участие своих ближних, которые кидали ему в шапку наличные. И никогда он, казалось, не бывал в дурном настроении, даже если его шапка оставалась пустой, никогда он, казалось, не страдал, не испытывал страха и не скучал. От него всегда исходили возмутительное самодовольство и самоуверенность, провоцирующе выставленная на всеобщее обозрение аура свободы.

Но однажды, в середине шестидесятых, осенью Ионатан шел на почту на улицу Дюпен и перед входом чуть не споткнулся о бутылку вина, стоявшую на куске картона между пластиковым пакетом и знакомой шапкой с несколькими монетами... Непроизвольно оглянувшись в поисках клошара, не потому, что хотел видеть именно эту личность, а потому, что в натюрморте с бутылкой, пакетом и куском картона не хватало главного элемента, он обнаружил его на противоположной стороне улицы между двумя припаркованными автомобилями и увидел, как тот справляет свою нужду: клошар сидел на корточках у придорожной канавы, брюки спущены до коленных чашек, зад обращен к Ионатану, зад был совершенно голый, мимо шли прохожие, каждый мог его видеть: белый, мучного цвета зад, расцвеченный синими пятнами и красноватыми струпьями, который выглядел таким же истрепанным, как зад прикованного к постели старика, а ведь этот человек был не старше его, лет тридцати, самое большее тридцати пяти. И из этого истерзанного зада была на тротуар струя коричневой жижи, в огромном количестве и с невероятной силой, она образовывала лужу, озеро, заливала башмаки, а летевшие во все стороны брызги пачкали носки, лодыжки, брюки, рубашку – все...

Зрелище было таким мерзким, таким омерзительным, что Ионатан еще и сегодня содрогается при одном воспоминании о нем. Тогда он на момент замер от ужаса, а потом вбежал в спасительную почту, оплатил счет за электричество, купил еще почтовых марок, хотя они были ему вовсе не нужны, только чтобы продлить свое пребывание на почте и увериться, что при выходе больше не застанет клошара за его занятием. Уходя с почты, он сощурился, и опустил взгляд, и заставил себя не смотреть на противоположную сторону, а решительно повернуть налево и двигаться вверх по улице Дюпен, и туда он и побежал, налево, хотя ничего там не забыл, просто чтобы не проходить мимо того места с винной бутылкой, картоном и шапкой, и сделал большой крюк, пройдя по улице Шерш-Миди и бульвару Распай, пока не достиг наконец улицы де ла Планш и своей комнаты, этого надежного убежища.

С того часа в душе Ионатана угасла всякая зависть к клошару. И с тех пор, когда в нем время от времени начинало шевелиться легкое сомнение, есть ли для человека смысл проводить треть жизни стоя у ворот банка, иногда открывая ворота и отдавая честь лимузину директора, проделывать одно и то же, получать за это короткий отпуск и маленькое жалованье, большая часть которого бесследно исчезает в виде налогов, квартплаты и взносов на социальное страхование... есть ли во всем этом смысл, то ответ тут же вставал перед его глазами с отчетливостью ужасного зрелища, которое он наблюдал на улице Дюпен: да, смысл есть. И даже очень большой смысл, ибо это избавляло его от перспективы публично обнажать зад и справлять нужду прямо на улице. Что может быть ужаснее, чем публично обнажать зад и испражняться на улице? Что может быть унизительнее, чем эти спущенные штаны, эта поза на корточках, эта вынужденная, уродливая нагота? Что может быть беспомощнее и постыднее, чем осуществлять эту мучительную процедуру на глазах у всего света? Справлять нужду! Уже само слово указывало на принудительность этого акта. И как всякое принудительное действие, акт требовал ради того, чтобы быть хоть как-то переносимым, отсутствия посторонних или чего-то, что скрывало бы его от посторонних глаз: леса, если ты находишься за городом; кустарника, если ты пересекаешь поле; или хотя бы борозды, или сумерек, или, если их нет, хорошо обозримого полигона, окруженного забором длиной в километр, за который никто не имеет права заглянуть. А в городе? Где люди так и кишат? Где никогда не бывает по-настоящему темно? Где даже заброшенный пустырь вокруг развалин не создает достаточной защиты от назойливых взглядов? В городе, чтобы дистанцироваться от людей, можно только спрятаться в чулан с хорошим замком и щеколдой. Если у вас его нет, этого надежного приюта, где можно справить нужду, вы самый убогий, самый жалкий человек в любом месте на земле. Ионатан обошелся бы и малыми деньгами. Он мог бы себе представить, что ходит в поношенной куртке и обтрепанных брюках. Если на то пошло и если бы он призвал на помощь все свое романтическое воображение, он смог бы представить себя спящим на куске картона и ограничить интимность своего жилища каким-нибудь углом, решеткой отопительного люка, лестничным спуском на станции метро. Но если в большом городе вы даже не можете захлопнуть за собой дверь, чтобы опорожнить желудок, пусть хотя бы дверь клозета на этаже; если человека лишают этой одной, самой важной свободы, а именно свободы по собственной необходимости удаляться от других людей, тогда все другие свободы ничего не стоят. Тогда жизнь не имеет более смысла. Тогда лучше умереть.

Когда Ионатан постиг, что сущность человеческой свободы заключается во владении клозетом и что он располагает этой сущностной свободой, его охватило чувство глубокого удовлетворения. Да, он правильно устроил свою жизнь! Он вел весьма и весьма счастливое существование. Не было ничего, совершенно ничего такого, о чем стоило бы сожалеть или в чем завидовать другим людям.

С того часа он утвердился на своем посту перед воротами банка. Он стоял там, словно был отлит из бронзы. Те самые солидные самодовольство и самоуверенность, которые он до сих пор предполагал в клошаре, влились в него, как расплавленный металл, застыли, образовали внутреннюю броню и придали ему вес. Впредь он не позволит ничему потрясти себя и не даст прорасти никакому сомнению. Он обрел невозмутимость сфинкса. Теперь, встречая или замечая клошара где-нибудь на улице, он испытывал к нему чувство, которое принято называть терпимостью: весьма прохладную смесь отвращения, презрения и сострадания. Этот человек более не возмущал его. Этот человек был ему безразличен.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.